

А.И.Куприн

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



А. И. Куприн

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Рассказы о животных

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1990

В ЗВЕРИНЦЕ

В походном, наскоро сколоченном из досок зверинце Иоганна Миллера сторожа еще не успели зажечь ламп для вечернего представления. На всем лежит тяжелая полумгла. Железные решетки, клетки, барьеры, скамейки, столбы, поддерживающие крышу, кадки с водою и ящики для песка кажутся при этом умирающем мерцании осеннего вечера нагроможденными в беспорядке. Воздух насыщен острым запахом мелких хищников: лис, куниц и рысей,— смешанным с запахом испортившегося сырого мяса и птичьего помета.

Вздрагивая от холода и тесно прижавшись друг к другу, пленники тяжело дремлют в своих клетках. В этот час они отдыхают от назойливого любопытства публики.

Желтые, серые, краснохвостые попугаи нахохлились на своих жердочках, привязанные к ним тонкими цепочками за ноги. Большой старый слон, который в темноте кажется издали безобразной громадой, дремлет, перекачиваясь на своей площадке с ноги на ногу, и то развивает, то свивает гибкий хобот. Обезьяны сбились в тесную кучу в самом дальнем углу своего помещения. Некоторые нежно обняли друг дружку за шею; одна положила голову на колени соседке. Выражения лиц у них у всех печально покорные, и теперь они больше, чем когда-либо, похожи на людей. В самом конце зверинца, на низкой насести, сидит старый орел, ощипанный, облезлый и сгорбленный. Он не спит. Его неподвижные глаза смотрят в темноту со всегдашней непримиримой и гордой ненавистью.

Тяжелая, угнетающая тишина изредка прерывается странными звуками: то будто вздох продолжительный вырывается из чьей-то громадной груди, то стон послышится, то отрывистый хохот сумасшедшей гиены, которая недавно заболела и теперь целыми ночами кружится

с необыкновенной быстротой на одном месте, пока не упадет без сил.

Цезарь спит и тихо, точно бредящая собака, взвизгивает во сне. Одна из его могучих желтых лап высунулась в ту щель внизу решетки, куда просовывают пищу, и небрежно свесилась наружу. Голову он спрятал в другую лапу, согнутую в колене, и сверху видна только густая темная грива. Рядом с ним свернулась в клубок, точно спящая кошечка, его львица. Цезарь спит беспокойно и иногда вздрагивает. Дыхание клубами горячего пара вылетает из его широких ноздрей.

Тревожный, но блаженный сон снится Цезарю.

Над хладеющей после дневного жара пустыней всплыл громадный, блестящий диск месяца, и пустыня ожила, и проснулась, и заговорила миллионами голосов. Проснулся и он, властелин пустыни, и медленными шагами выходит из зарослей, куда загнало его в полдень солнце и где он после кровавого пира, утолив из ручья жажду, спал в тени до наступления ночи. Какой простор перед его расширенными очами! Только и видно, что синее небо да безбрежная пустыня. Всей своей могучей грудью вдыхает лев свежеющий воздух и вдруг оглушительным, царственным ревом потрясает воздух пустыни. И все смолкает, объятое ужасом, с фырканьем и топотом вскакивают и мчатся через пустыню испуганные стада антилоп и зебров...

Лев крадется к тому ручью, куда каждый день ходят пить воду стада буйволов, и прячется между камнями. Ни один мускул его бархатного тела не шевелится, но весь он уже сжался и приготовился для огромного прыжка. Вдали раздается грузный топот, земля гудит и вздрагивает под тяжелыми копытами. Это идут на водопой буйволы. Передовые тревожно и громко обнюхивают землю и бьют себя хвостами по бокам. Лев не шевелится, но задние ноги его, точно две стальные пружины, готовы каждую секунду выпрямиться со страшною быстротою.

Наконец стадо напилось и возвращается обратно. Цезарь уже выбрал свою жертву, молодого черного бычка с мускулистой шеей и железным затылком. Легким, беззвучным движением взвивается лев в воздухе. Один прыжок — и он уже на спине у буйвола, задние лапы вонзились в круп, передние ушли глубоко в мускулы шеи. Животное в ужасе и бешенстве мчится вперед, прыгает, тщетно стараясь сбросить с себя страшную ношу, и мгновенно падает на песок с перегрызенным позвонком. Пасть Цезаря дымится от горячей крови животного, и опять оглашает он своим победным царственным ревом пустыню.

Взвизгивает в своей клетке спящий Цезарь и видит другой сон.

Перед ним возвышается утыканная острыми гвоздями страшно высокая и крепкая загородка крааля. Лев приседает чуть-чуть к земле,— мгновение — и он уже внутри загородки; под навесом, сбившись в кругу и дрожа атласной кожей, стоят лошади. Лев устремляется к ним, но в это мгновение просыпается весь крааль. Вспыхивает ружейный огонь, гремят выстрелы, с криком, свистом, гиканьем сбегаются люди. Но Цезарь не хочет упустить добычу; он уже схватил за загривок жеребенка и влечет его по земле к загородке. Гнев и вкус горячей лошадиной крови придают ему чрезмерную силу. Взмахом могучей головы он закидывает животное на спину, вместе с ним высоко над загородкой перелетает на другую сторону и скрывается в темноте ночи.

Сторож зажег лампу. Свет ее упал на глаза Цезарю, и он проснулся. Сначала лев долго не мог прийти в себя; он даже чувствовал до сих пор на языке вкус свежей крови. Но как только он понял, где он находится, то быстро вскочил на ноги и заревел таким гневным голосом, какого еще никогда не слыхали вздрагивающие



постоянно при львином реве обезьяны, ламы и зебры. Львица проснулась и, лежа, присоединила к нему свой голос.

Цезарь уже не помнил своего сна, но никогда еще эта тесная клетка с решеткой, эти ненавистные лампы, эти человеческие фигуры так его не раздражали. Он метался из угла в угол, злобно рычал на львицу, когда она попадалась на дороге, и останавливался — только для того, чтобы в бешеном реве выразить весь бессильный, но страшный гнев Цезаря, запертого в тюрьме.

— Пож-жалуйте, господа! Наччинается объяснение зверей.

— Пож-жалуйте! — закричал у входа сторож-немец.

Господа, в числе которых было десять — двенадцать дам с детьми и няньками, несколько гимназистов и юнкеров и человек тридцать хорошо одетых мужчин, подошли и окружили сторожа. Остальная публика глазела сзади, из-за барьера. Сторож стал спиною к первой клетке и, постукивая за спиной палочкой по решетке, начал объяснение:

— А вот-с ам-мериканский дикобраз. Тело его снабжено длинными колючими иглами, которые он бросает в преследующих его врагов...

Объяснение свое он проговорил заученным тоном, с полнейшим равнодушием к самому дикобразу, и перешел к следующему номеру.

— А вот-с черная пантера, или черная смерть, называется иначе гробокопательница. Разрывает могилы и пожирает трупы с кожей, с костями и даже с волосами. Посторонитесь, господа. Детям не видно...

Публика наклонилась к решетке, но ничего не видала, кроме двух зеленых горящих глаз в самом углу клетки.

— Может, там никакой пантеры нема? — заметил с галереи чей-то голос.

Потом сторож объяснял гамадрила, который «ходит гулять на люна, а если нет люна, то без люна, и кушает яйца крокодила». Затем он показывал находящегося в ящике «змея Кейлон с острова Цейлон». Этот змей не ядовит, только мускулом давит, самого его видеть нельзя, потому что «если ящик открывайт, — змей бистро убегайт».

Наконец толпа остановилась перед клеткой льва.

— А вот африканский лев. Называется Цезарь. Стоит двадцать пять тысяч марок. И со своей львицей, стоящей одиннадцать тысяч марок, — запел сторож.

Затем в его руках очутилась неизвестно откуда появившаяся жестяная кружка, и он, потряхивая находящимися в ней медяками, протягивая ее публике, сказал:

— Сейчас начнется блестящее представление: укрощение львов и кормление диких зверей. Пожертвуйте, господа, кто что может, в пользу служащих зверинца.

И в это время свободной рукой он зазвонил в колокольчик, возвещающий начало представления. Десять евреев-музыкантов грянули веселый марш.

— Карльхен, звонят, — сказала чистенькая старая немка, выходя из-за своей кассы и отворяя дверь в уборную, где одевался укротитель.

— Сейчас, — ответил Карльхен. — Затворите, мама, дверь. Холодно.

Карл Миллер, брат хозяина зверинца, стоял в крошечной дощатой уборной, перед зеркалом, уже одетый в розовое трико с малиновым бархатным перехватом ниже живота. Старший брат, Иоганн, сидел рядом и зоркими глазами следил за туалетом Карла, подавая ему нужные предметы. Сам Иоганн был сильно хром (ему ручной лев исковеркал правую ногу) и никогда не выходил в качестве укротителя, а только подавал брату в клетку обручи, бенгальский огонь и пистолеты.

— Вот румяна, — сказал Иоганн, протягивая брату коробку. — Положи немного.

Карл действительно был бледен. При первых же звуках музыки он почувствовал, как кровь сбежала с его лица и горячей волной прихлынула к сердцу и как руки его похолодели и приобрели какую-то особенную цепкость. Но это волнение не было волнением трусости. Уже два года Карл укрощал львов и каждый день испытывал одно и то же чувство — подъема нервов.

Музыка, трико, боязливое и почтительное любопытство толпы, бенгальский огонь, наконец, прилив воли и отваги во время представления в клетке и страшная нравственная сила, которую он в это время чувствовал во всем своем существе и особенно во взоре, заставлявшем льва робко пятиться в угол,— все зто заранее, еще при одевании, волновало его.

Положив на щеки слой румян и подведя карандашом нижние и верхние веки, отчего глаза стали громадными и заблестели, Карл надел на шею малиновый воротник, украшенный аграмантом с блестками, и посмотрел в зеркало. На него глянуло смелое и взволнованное, очень красивое лицо, с крутым, упрямым подбородком, с большими голубыми глазами, смотревшими с дерзкой улыбкой.

— Хлыст! — приказал отрывисто Карл, поправляясь перед зеркалом.

Старший брат поспешно подал ему длинный бич, а сам отошел к дверям, чтобы их широко отворить перед выходом Карла, и заботливо ощупал в кармане револьвер...

Карл швырнул зеркало на комод и сделал руками и ногами несколько быстрых движений, чтобы размяться. Брат посмотрел на него вопросительно. Карл мотнул головой и из растворенной Иоганном двери вышел властичной, поспешной походкой в зверинец. Иоганн шел сзади и звонил, а чистенькая старушка из-за кассы украдкой крестила молодого сына, красавца и своего любимчика.

За десять шагов до клетки Карла остановил сторож и сказал ему несколько слов на ухо. Это была дурная примета. Укротитель никогда не должен останавливаться ни на одну секунду, потому что зверь следит за ним глазами с самого выхода из его уборной.

— Цезарь беспокоится? Рычит? — переспросил Карл умышленно громко, играя перед публикой бесстрашием.— О! Это пустяки. Он сейчас будет у нас как овечка.

Цезарь стоял, прижавшись лицом к самой решетке. Его кошачьи рыжие глаза с громадными зрачками блестели жадно и пугливо в то же время. Бешенство, не проходившее у него до сих пор, внезапно разрослось при виде знакомой фигуры в розовом трико, на которую он нарочно не смотрел, но за всеми движениями которой следил с напряженным вниманием хищника.

Карл быстро прошел среди расступившихся зрителей, ловко вспрыгнул на три ступеньки приставной лестницы и очутился в предохранительной клеточке, из которой железная дверца отворялась внутрь большой клетки. Но едва он взялся за ручку, как Цезарь одним прыжком очутился у дверцы, налег на нее головой и заревел, обдавая Карла горячим дыханием и запахом гнилого мяса.

— Цезарь, назад!.. — крикнул Карл и, нарочно приблизив к решетке лицо, устремил на зверя пристальный взгляд. Но лев выдержал взгляд, не отступал и скалил зубы. Тогда Карл просунул сквозь решетку хлыст и стал бить Цезаря по голове и по лапам.

Цезарь ревел, но не отступал и не отводил глаз.

— Довольно! — крикнул кто-то из глубины публики.

— Довольно! — подхватила единодушно вся толпа.

— Оставь! — сказал Иоганн тихим и тревожным голосом и под плащом, незаметно, вытащил из кармана револьвер.

— Нет! — отрезал сердито Карл

и опять ударил изо всей силы льва по голове.— Цезарь, назад!

Но Цезарь внезапно взвился во весь рост и ударил лапой в решетку с такой силой, что вся клетка задрожала.

— Довольно! Перестаньте! — кричали зрители и оставались в то же время точно прикованные, не трогаясь с места.

— Огня! — крикнул Карл.

Минутный припадок нерешительности, который он испытал было сначала при непослушании льва, уступил теперь место озлоблению, и он решился во что бы то ни стало заставить зверя повиноваться.

Иоганн выхватил из жаровни, принесенной сторожем, раскаленный железный прут и передал его брату вместе с зажженной палочкой искристого бенгальского огня.

Ослепленные огнем зрители не заметили быстрого движения Карла, но увидали, как Цезарь с громким стоном боли отскочил от двери, и в ту же секунду укротитель очутился в клетке.

В зверинце сделалось совсем тихо, слышно было только, как шипел бенгальский огонь в руке у Карла да стонал и ворчал Цезарь в углу клетки.

Что затем произошло — никто не мог дать себе отчета. Послышался потрясающий крик Карла, ужасный рев Цезаря и львицы, три оглушительных выстрела, испуганные крики зрителей и безумный, отчаянный старческий вопль: «Карльхен! Карльхен! Карльхен!..»

На полу клетки лежал Карл, весь истерзанный, с переломанными руками, ногами и ребрами, но еще живой; сзади него львица, которой пуля Иоганна попала в череп, и рядом с ней — в последней агонии — Цезарь.

Бледные, перепуганные зрители стояли вокруг клетки в немом ужасе и не трогались с места, несмотря на упрашивания сторожа оставить зверинец.

1895

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в ее лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом.

Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрестка. Тогда Джек решился ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собой сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головою и чихнул,— Аннушкин след был окончательно потерян.

Однако пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать до колбасной, от колбасной — до зеленной лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом,— и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и от-

четливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны и на шее болтался широкий истертый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлебываясь.

«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги,— подумал Джек.— Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит, болван, боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».

И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека наружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом... Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапах, туловищу крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех, и по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не

было видно; он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

— Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

— Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне.

— Как!.. Позвольте... виноват... я не расслышал,— пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги.— Вы изволили сказать: в жи...

— Да, в живодерне,— подтвердил так же холодно пудель и отвернулся.

— Извините...Но я вас не совсем точно понял... Живодерня... Что же это за учреждение — живодерня? Не будете ли вы так добры объясниться?

Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.

— Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.

— Эка невидаль! — послышался хриплый голос из темного угла.— Я в седьмой раз туда еду.

Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один Бутон, движимый лакейским усердием выскочки, закричал:

— Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают!

И тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу.

— Я там бывал три раза,— продолжал пудель,— но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и вы понимаете, мною дорожат)... Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак...

— Скажите, а бывает там порядочное общество? — жеманно спросила левретка.

— Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из...

Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:

— ...из собачьего мяса.

При последних словах компания пришла в ужас и негодование.

— Черт возьми! Какая низкая подлость! — воскликнул Джек.

— Я сейчас упаду в обморок... мне дурно,— прошептала левретка.

— Это ужасно... ужасно! — простонала такса.

— Я всегда говорил, что люди подлецы! — проворчал мышастый дог.



— Какая страшная смерть! — вздохнул Бутон.

И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой:

— Однако этот суп ничего... недурен... хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.

Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:

— Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но,— приготовьте ваши нервы, mesdames,— но этого мало. Для того, чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки.

Отчаянные крики прервали слова пуделя:

— Какое бесчеловечие!..

— Какая низость!

— Но это же невероятно!

— О боже мой, боже мой!

— Палачи!..

— Нет, хуже палачей!..

После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи.

— Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? — крикнул запальчиво Джек.

— Будьте добры, укажите это средство,— сказал с иронией старый пудель.

Собаки задумались.

— Перекусать всех людей, и баста! — брякнул дог озлобленным басом.

— Вот именно-с, самая радикальная мысль,— поддержал подобострастно Бутон.— По крайности будут бояться.

— Так-с... перекусать... прекрасно-с,— возразил старый пудель.— А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арапников? Вы изволили быть с ними знакомы?

— Гм...— откашлялся дог.

— Гм...— повторил Бутон.

— Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь... Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник,— вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестные?.. Предположим, что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться... Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все-с. Таков закон природы-с.

— Ну, развел философию,— сказала такса на ухо Джеку.— Терпеть не могу стариков с их поучениями.

— Совершенно справедливо, mademoiselle,— галантно махнул хвостом Джек.

Мышастый дог с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом:

— Эх, жизнь собачья!..

— Но где же здесь справедливость,— заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка.— Вот хоть вы, господин пудель... извините, не имею чести знать имени...

— Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам,— поклонился пудель.

— Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености: скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями...

— Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильней и умней,— возразил с горечью Арто.— О! мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных... Во-пер-

вых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?

— Уделит, непременно уделит,— согласились слушатели.

— Гм! — крякнул дог с сомнением.

— Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда — это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.

— Действительно так,— подтвердили слушатели.

— Скажите еще,— продолжал белый пудель,— разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устроении собачьего счастья? А люди это делают!

— Черт побери! — вставил энергично мышастый дог.

— В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки... И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что так уж устроено. Освободиться от их владычества невозможно... Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу.

Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.

Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.

Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из нее, повинуясь инстинкту, сбились в кучу.

— Эй, послушайте, как вас там... эй вы, профессор...— услыхал пудель сзади себя чей-то голос.

Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес.

— Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое,— огрызнулся старый пудель.— Не до вас мне.

— Нет, я только одно замечаньице... Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали... Да-с.

— Да отвяжитесь от меня, черт возьми! Какую там еще ошибочку?

— А насчет собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?

И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понесся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» — закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.

Но фиолетовый пес был уже около забора. Одним толчком отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.

Старый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.

1896

БАРБОС И ЖУЛЬКА

Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нем замечалось отдаленное сходство с белым пуделем, но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал унизан колючими «репяхами», осенью же клоки шерсти на его ногах, животе, извалявшись в грязи и потом высохнув, превращались в сотни коричневых, болтающихся сталактитов. Уши Барбоса вечно носили на себе следы «боевых схваток», а в особенно горячие периоды собачьего флирта прямо-таки превращались в причудливые фестоны. Таких собак, как он, искони и всюду зовут Барбосами. Изредка только, да и то в виде исключения, их называют Дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом.

Жулька также принадлежала к очень распространенной породе маленьких собак, тех тонконогих собачек с гладкой черной шерстью и желтыми подпалинами над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой ее характера была деликатная, почти застенчивая вежливость. Это не значит, чтобы она тотчас же перевертывалась на спину, начинала улыбаться или униженно ползала на животе, как только с ней заговаривал человек (так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки). Нет, к доброму человеку она подходила с свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапами и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность ее выражалась главным образом в манере есть. Она никогда не попрошайничала, наоборот, ее всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жулька скромно отходила в сторону с таким видом, который как будто бы говорил: «Кушайте, кушайте, пожалуйста... Я уже совершенно сыта...» Право же, в ней в эти моменты было гораздо меньше собачьего, чем в иных почтенных человеческих лицах во время хорошего обеда.

Конечно, Жулька единогласно признавалась комнатной собачкой. Что касается до Барбоса, то нам, детям, очень часто приходилось его отстаивать от справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел весьма смутные понятия о праве собственности (особенно если дело касалось съестных припасов), а во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило стрескать в один присест добрую половину жареного пасхального индюка, воспитанного с особенною любовью и откормленного одними орехами, или улечься, только что выскочив из глубокой и грязной лужи, на праздничное, белое как снег покрывало маминой кровати.

Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал: это замечалось по его бровям, все время не перестававшим двигаться. Барбос ждал... Едва только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура, Барбос стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и полным карьером несся на дерзкого нарушителя территориальных законов. Он твердо памятовал великий закон всех единоборств и сражений: бей первый, если не хочешь быть битым, и поэтому наотрез отказывался от всяких принятых в собачьем мире дипломатических приемов, вроде предварительного взаимного обнюхивания, угрожающего рычания, завивания



хвоста кольцом и так далее. Барбос, как молния, настигал соперника, грудью сшибал его с ног и начинал грызню. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком, два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал победу. В то время, когда его враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад, Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконник. Правда, что иногда при этом триумфальном шествии он сильно прихрамывал, и уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем слаще казались ему победные лавры.

Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие и самая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйный нрав и дурные манеры, но, во всяком случае, явно она никогда этого не высказывала. Она даже и тогда сдерживала свое неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно сердитым рычанием делали вид, что ожесточенно грызутся между собой.

Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел ее с своего подоконника, но, вместо того, чтобы, по обыкновению, кинуться в бой, он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя одним своим видом панический ужас и на людей и на животных. Люди попрятались за двери и боязливо выглядывали из-за них. Все кричали, распоряжались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешеная собака тем временем уже успела искусать двух свиней и разорвать несколько уток.

Вдруг все ахнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и во всю прыть своих тоненьких ножек понеслась наперерез бешеной собаке. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой. Потом они столкнулись... Это все произошло так быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернулась к воротам и выскочила на улицу.

Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела ее даже укусить. Но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульке... С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости; то лежала по целым часам в каком-нибудь темном углу, то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Она отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда ее звали по имени.

На третий день она так ослабела, что не могла приподняться с земли. Глаза ее, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию отца, ее отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. (Ведь известно, что только человек обставляет так торжественно свою смерть. Но все животные, чувствуя приближение этого омерзительного акта, ищут уединения.)

Через час после того как Жульку заперли, к сараю прибежал Барбос. Он был сильно взволнован и принялся сначала визжать, а потом выть, подняв кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным видом и настороженными ушами щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл.

Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили веревкой; он убегал, но тотчас же упорно возвращался на свое место и продолжал выть.

Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос.

— Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа,— приставали мы к отцу.

Он сначала сказал: «Глупости!» Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить.

И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле, обнюхал ее и с тихим визгом стал лизать ее в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову — ей это не удалось. В прощании собак было что-то трогательное. Даже прислуга, глазевшая на эту сцену, казалась тронутой.

Когда Барбоса позвали, он повиновался и, выйдя из сарая, лег около дверей на земле. Он уже больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае. Часа через два он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала неподвижно на боку. Она издохла...

1897

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ

I

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плелся старший член труппы — дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Китай» — обе бывшие в моде лет тридцать — сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной — дискантовой — пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки до тех пор, пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

— Что поделаешь?.. Древний орга́н... простудный... Заиграешь — дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым ор-

лом», из «Продавца птиц» — вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орга́н к мастеру — чинить не берется. Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник... Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст, и еще покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал, наконец, видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

— Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи.

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись ему за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душой, и мелкими житейскими интересами.

II

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях — повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравняется с ним.

— Ты что, Сережа? — спросил шарманщик.

— Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпения! Искупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

— На что бы лучше! — вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. — Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

— Врал, может быть? — с сомнением заметил Сергей.

— Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом, здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

— Что, брат песик? Тепло? — спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

— Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица

твоего,— продолжал наставительно Лодыжкин.— Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки... Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться... А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орга́н вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на́ траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце — первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду — на клумбах, на изгородях, на стенах дач — яркие великолепные душистые розы,— все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

— Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтале-то золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! — кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине.— Дедушка, а персики! Вона сколько! На одном дереве!

— Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! — подталкивал его шутливо старик.— Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места,— есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь глядемши... Скажем, примерно — пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

— Ей-богу? — радостно удивился Сергей.

— Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал, небось, в лавочке?

— Ну?

— Просто так себе и растут в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами. Отчаянный народишко! А то бывают там, братец, эфиопы... Я их в Батуме много раз видел.

— Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами,— уверенно сказал Сергей.

— Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, и глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

— Страшные, поди... эфиопы-то эти?

— Как тебе сказать? С непривычки оно точно... опасаешься немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее... Много там, братец мой, всякой всячины. Придем — сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому кругом

болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

— Две да пять, итого семь копеек. Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи,— вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради... Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно... ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки... Я ведь не обижаюсь, я ничего... зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

— Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую беленькую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

— Н-да-а... Ловко! — произнес он, внезапно остановившись.— Могу сказать... А мы-то три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту, по крайности, куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня, небось, думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня... Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на

длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, округлые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

— Подожди-ка малость, Сергей,— окликнул он мальчика.— Никак, там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу,— и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

— «Дача «Дружба», посторонним вход строго воспрещается»,— прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

— Дружба?..— переспросил неграмотный дедушка.— Во-во! Это самое настоящее слово — дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

III

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В фонтанах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесучевой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

— Батюшка, барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать

маменьку-с — встаньте-с... Будьте столь добренькие — выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться...

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро, подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень трогательное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая болезненная дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

— Ах, Трилли, ах боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку? Да скажите ему что-нибудь, доктор!..

— Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной,— загудел толстый господин в очках.

— Ай-яй-яй-а-а-а! — вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

— Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? — спросил он шепотом.— Никак, драть его будут?

— Ну вот, драть... Такой сам всякого посечет. Просто блажной мальчишка. Больной, должно быть.

— Шамашедчий? — догадался Сергей.

— А я почем знаю. Тише!..

— Ай-яй-я-а! Дряни! Дураки! — надрывался все громче и громче мальчик.

— Начинай, Сергей. Я знаю! — распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

— Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! — воскликнула плачевно дама в голубом капоте.— Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов; сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза; кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

— Эт-то что за безобразие! — захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом.— Кто позволил? Кто пропустил? Марш!.. Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

— Господин хороший, дозвольте вам объяснить...— начал было деликатно дедушка.

— Никаких! Марш! — закричал с каким-то даже свистом в голоое фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

— Собирайся, Сергей,— сказал



он, поспешно вскидывая шарманку на спину.— Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые оглушительные крики:

— Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-а! Позвать! Мне!

— Но Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их! — застонала нервная дама.— Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

— Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! — закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетевшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

— Пст!.. Музыканты! Слушайте-ка, назад!.. Назад!..— кричал он, задыхаясь и махая обеими руками.— Старичок почтенный,— схватил он, наконец, за рукав дедушку,— заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

— Н-ну, дела! — вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя рваную куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку так, что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами — веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя задними лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на

него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает тридцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» — с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

— Служить, Арто! Так, так, так...— проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст.— Перевернись. Так. Перевернись... Еще, еще... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой. Ну! Арто! — грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» — брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» — слышалось в этом недовольном лае.

— Вот это — другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем,— продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст.— Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль... Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и сунул ей в рот свой древний засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

— Что? Не говорил я тебе? — задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею.— Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

— Хочу-у-а-а! — закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик.— Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у...

— Ах, боже мой! Ах, Николай Аполлоныч!.. Батюшка, барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! — опять засуетились люди на балконе.

— Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! — выходил из себя мальчик.

— Но, ангел мой, не расстраивай себя! — залепетала над ним дама в голубом капоте.— Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

— Вообще говоря, я не советовал бы,— развел тот руками,— но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболовки, то-о... вообще...

— Соба-а-аку!

— Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда... Но Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. А слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить: она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

— Не хочу погладить, не хочу! — ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри.— Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

— Послушайте, старик, подойдите сюда,— силилась перекричать его барыня.— Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе... еще, вам говорят!.. Вот так.. Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же, наконец, ребенка... Доктор, прошу вас... Сколько ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло почтительно-жалкое выражение.

— Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние благо... Чай, сами старичка не обидите...

— Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша*, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

— А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку,— взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

— То есть... простите, ваше сиятельство,— замялся Лодыжкин.— Я человек старый, глупый... Сразу-то мне не понять... к тому же и глуховат малость... то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?..

— Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? — вскипела дама.— Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

— Собаку! Соба-аку! — залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

— Собаками, барыня, не торгую-с,— сказал он холодно и с достоинством.— А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих,— он показал большим пальцем через плечо на Сергея,— нас двоих кормит, поит и одевает. И никак это невозможно, чтобы, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

— Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась,— настаивала дама, стискивая свои виски ладонями.— Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

— Собирайся, Сергей,— угрюмо проворчал Лодыжкин...— Исту-ка-н... Арто, иди сюда!..

— Э-э, постой-ка, любезный,— начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках.— Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой напридачу... Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

— Покорнейше вас благодарю, барин, а только...— Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи.— Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливо оставаться... Сергей, иди вперед!

— А паспорт у тебя есть? — вдруг грозно взревел доктор.— Я вас знаю, канальи!

— Дворник! Семен! Гоните их! — закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом близился к артистам. На террасе поднялся страшный разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с подњанькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор, Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам.

А следом за ними шел дворник, подталкивая старика сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

— Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодари еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал! А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину врядникy. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением улыбнулся Лодыжкин.

— Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? — поддразнил его лукаво Сергей,

— Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой,— покачал головой старый шарманщик.— Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописа-ал ижу. Подавай, говорит, собаку. Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денек сегодня задался. Удивительно!

— На что лучше! — продолжал ехидничать Сергей,— одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

— А ты помалкивай, огарок,— добродушно огрызнулся старик.— Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина — этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбачьих лодок.

— Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин,— сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны.— Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренек,— думал Лодыжкин,— даром что костлявый — вон все ребра видать, а всетаки будет парень крепкий».

— Э, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

— А я ее за хвост! — крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги — поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

— Дедушка Лодыжкин, гляди! — крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

— Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? — волновался пудель. — Есть земля — и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о пребрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

— Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! — позвал старик.

— Сейчас, дедушка Лодыжкин, — отозвался мальчик. — Смотри, как я пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но, прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду с всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

— Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? — сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

— Что ему надо? — спросил с недоумением дедушка.

IV

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

— О-го-го!.. Подождите трошки!..

— А чтоб тебя намочило да не высушило, — сердито проворчал Лодыжкин. — Это он опять насчет Артошки.

— Давай, дедушка, накладем ему! — храбро предложил Сергей.

— А ну тебя, отвяжись... И что это за люди, прости господи...

— Вы вот что... — начал запыхавшийся дворник еще издали. — Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку...» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

— Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! — рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. — И опять-таки какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста... я тебя прошу... уйди ты от нас, Христа ради... и того... не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

— Да пойми же ты, дурак человек...

— От дурака и слышу, — спокойно отрезал дудушка.

— Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой... ты подумай: ну что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

— Бреши дальше... Я потом сразу тебе отвечу.

— А тут, брат ты мой, сразу — цифра! — горячился дворник. — Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за

труды... Но ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.

— Кончил? — коротко спросил Лодыжкин.

— Да тут долго и кончать нечего. Давай пса — и по рукам.

— Та-ак-с,— насмешливо протянул дедушка.— Продать, значит, собачку?

— Обыкновенно — продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный[1]. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай — и все тут. Это еще без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у них один. И озорует. Хочу поню живую — на тебе поню. Хочу лодку — на тебе всамделишную лодку. Как есть, ни в чем, ни в чем отказу...

— А луну?

— То есть в каких это смыслах?

— Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

— Ну вот... тоже скажешь — луну! — сконфузился дворник.— Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

— Я тебе одно скажу, парень,— начал он не без торжественности.— Примерно, ежели бы у тебя был брат, или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй... сам лучше скушай... этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... То за сколько бы ты его примерно продал?

— Приравнял тоже!..

— Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит,— возвысил голос дедушка.— Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебя! Сергей, собирайся.

— Дурак ты старый,— не вытерпел наконец дворник.

— Дурак, да от роду так, а ты хам. Иуда, продажная душа,— выругался Лодыжкин.— Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовию низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

— Значит, та-ак! — многозначительно протянул дворник.

— С тем и возьмите! — задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней, под съехавшей на глаза шапкой, свой лохматый рыжий затылок.

V

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в

[1] Сумасшедший *(малороссийское слово.— Прим. А. И. Куприна).*

ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

— Грехи наши тяжкие, а запасы скудные,— сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником.— Ну-ка, Сережа, господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных помидоров, кусок бессарабского сыра — брынзы — и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломал краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую он протянул Сергею (малый растет — ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

— Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают,— шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом.— Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

— Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? — спросил дедушка.— Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! — крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды.— Если бы я был царем, все бы эту воду пил... с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-охо-нюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал там однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

— Перво дело — куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные... В Киеве, в Харькове или, например, скажем в городе Одессе — там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... все электричество горит... Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше... почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна — нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим — Антонио, или, например, тоже хорошо — Энрико, или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в

розовой рубахе, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

— Арто... куда! Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал назад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

— Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

— Ты что, Сергей, вопишь? — недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

— Собаку мы проспали, вот что,— раздраженным голосом грубо ответил мальчик.— Пропала собака.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

— Арто-о-о!

— Глупости ты выдумываешь!.. Вернется,— сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

— Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем — ни одной фигуры, ни одной тени.

— Арто! Ар-то-шень-ка! — жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

— Да-а, вот оно какое дело-то! — произнес старик упавшим голосом.— Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

— Ну, что там еще? — грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину.— Вчерашний день нашел?

— Сережа... что это такое? Вот это, что это такое? Ты понимаешь? — еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

— Свел ведь, подлец, собаку! — испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках.— Не кто, как он — дело ясное... Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.

— Дело ясное,— мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

— Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? — спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

— Что делать, что делать! — сердито передразнил его Сергей.— Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!..

— Пойдем,— уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли.— Ну, что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького.

— Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видно всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет — к мировому, вот и весь сказ.

— К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому...— с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали.— К мировому... да... Только вот что, Сереженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

— Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы

смотреть? — нетерпеливо перебил мальчик.

— А ты, Сережа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. — Дедушка таинственно понизил голос. — Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она какая история. А у меня, — дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, — у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

— Как чужой?

— То-то вот — чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения... Наконец, вижу, нет никакой моей возможности, живу, точно заяц, — всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, и я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

— Ах, дедушка, дедушка! — глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. — Собаку мне уж больно жалко... Собака-то уж хороша очень.

— Сереженька, родной мой! — протянул к нему старик дрожащие руки. — Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве бы я поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию — первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартьян Лодыжкин?» — «Я, вашескородие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин — один бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Сережа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара, морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.

— Пойдем, дедушка, — сказал он повелительно и ласково в то же время. — К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

— Милый ты мой, родной, — приговаривал, трясясь всем телом, старик. — Собачка-то уж очень затейная... Артошенька-то наш... Другой такой не будет у нас...

— Ладно, ладно... Вставай, — распоряжался Сергей. — Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но, пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными, печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, торжественная тишина.

— Гос-спо-да! — шипящим голо-

сом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

— Будет тебе, пойдем,— сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

— Сереженька, может, убежит от них Артошка-то? — вдруг опять всхлипнул дедушка.— А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

VI

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки — каменотесы, землекопы — турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоявших вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом на полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

— Ты куда ноцью ходись, малцук? — сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

— Пропусти. Надо! — сурово, деловым тоном ответил Сергей.— Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенками. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой семьей темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..». И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю!.. Сплю!..». А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри — такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг

открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала,— лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки,— и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая, точно галун, весь берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

— А все-таки я полезу! Все равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз,

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе, подымется крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» — догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнавал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из тем-

ных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно-грозного приказания.

— Только не в доме... в доме ее не может быть! — прошептал, как сквозь сон, мальчик.— В доме она выть станет, надоест...

Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» — с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» — печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.

— Арто! Артошка! — позвал Сергей дрожащим шепотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться.

— Арто! Собакушка!.. Артошенька!..— вторил ей плачущий голос мальчика.

— Цыц, окаянная! — раздался снизу зверский, басовый крик.— У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

— Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! — закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то ужасном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.

— Кто здесь бродит? Застрелю! — загрохотал, точно гром, его голос по саду.— Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным ужасом, связал его ноги, парализовал все его маленькое слабое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от страха, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно

рычавший какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной белой стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны — высокой стеной, с другой — тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, мертвая тоска, вялое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятною радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела — собаки и мальчика — быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха,— оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с их губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они, наконец, отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными



кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа.

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:

— И сто ти се сляесься, малцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

1904

ИЗУМРУД

Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера

I

Четырехлетний жеребец Изумруд — рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти — проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это — Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкая коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

— Бал-луй, черт! — сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу,— чего обыкновенно не делается и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке,— то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь

перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым, верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазками и особенно перед его крепким, точно каменным, костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено»,— думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар — хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет — дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый — Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями,— это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки,— о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь — мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени,— и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забы-

тые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.

II

Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой в деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!

Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнает его издали, среди тысячи других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отставив метелкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери.

Она — костлявая, старая, спокойная кобыла — поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится делать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах.

В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом и заблеял, озираясь назад, на

конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам.

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку.

Пришли остальные конюхи — их всех было четверо — и стали в железных мерках разносить по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец суетливо совался к корму то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал ясли локтями и ворчал с добродушной грубостью:

— Ишь ты, зверь жадная... Но-о, успеешь... А, чтоб тебя... Потычь мне еще мордой-то. Вот я тебя ужотко потычу.

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.

III

Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгребенных из конюшни, шел густой пар, и воробьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь здоров!» — серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания. Привязанный к коновязи; он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на вороную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке.

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину жеребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль по шерсти, отжимая воду. Оглядываясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестевший глянцем на солнце.

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей; некоторым, которые по короткости туловища имели обыкновение засекаться подковами, надевали кожаные ногавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком.

Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вы-

терт шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие, изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. На нем была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настораживали уши в его сторону.

Он особенно следил за запряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость подпруги, просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные попоны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты.

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направлении — в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. Внутри двора водили поддужных лошадей, небольших, крепконогих, с подстриженными короткими хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади тихо и ласково поржали в знак приветствия.

IV

На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные, желтые, лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами, вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник, не торопясь, взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью выбежал из ворот на ипподром.

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс, шла широкая беговая дорожка из желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, возвращая им их давление. Острые следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гуттаперчей шин, бороздили ленточку.

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов длиною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела черная человеческая толпа. По легкому, чуть слышному шевелению вожжей Изумруд понял, что ему можно при-

бавить ходу, и благодарно фыркнул.

Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину.

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем — навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый, беломордый рысак, чистой орловской породы, с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожий на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывая передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у него звучно екала селезенка.

Потом подошла сза́ди стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился.

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального оберчека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топотал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях, и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону.

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта.

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откинувшись назад всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал вожжи, и его

руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту.

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор.

V

На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнией бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось его тело,— во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще.

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх.

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густой человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца,— и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом справа.

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы. Еще рано»,— понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее равномерное дыхание.

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще! — позволяет наездник,— еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» — думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся,— отвечают, успокаивая, волшебные руки.— Потом».

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляет Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об

этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ровно!» — приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо — Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик-поддужный, припавший, стоя на коротких стременах, к лошадиной гриве,— счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! — ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. Тра-та, тра-та! — коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» — спрашивает Изумруд. «Да,— отвечают руки,— но спокойно».

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего, наладившегося такта, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади, Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано,— добродушно замечает наездник.— Мы успеем это поправить. Ничего».

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на шесть длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!» — приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно! — приказывают вожжи в высоко поднятых руках.— Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены:

— О-з-з-з-зй!

— Вот, вот, вот, вот!..— пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный.

Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! — ровно отпечатывают по земле ноги Изумруда. Трра-трра-тра! — слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади.

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко, Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты

водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» — говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже.

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов.

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокоий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером.

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!» — слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они? — думает он с удивлением. — Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.

VI

Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас.

А потом пошли скучные дни.

Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, — много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и все кричали друг на друга.

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным, каменным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей.

Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине и часто видел их во сне, но с течением



времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъезжали новые, незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его и сердито бранились между собою.

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно,— подумал Изумруд,— я никогда не пробовал такого овса».

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля полошадиному длинные зубы, Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться.

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной.

Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло — навсегда.

1907

СЛОН

I

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою еще двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз глазные веки и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор — высокий, седой, в золотых очках — рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

— Главное,— не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы.

— Ах, доктор, но она ничего не хочет!

— Ну, не знаю... вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства...

— Нет, нет, доктор, она ничего не хочет...

— Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь... Ну, хоть чем-нибудь... Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить,— это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем... До свидания, сударыня!

II

— Милая Надя, милая моя девочка,— говорит мама,— не хочется ли тебе чего-нибудь?

— Нет, мама, ничего не хочется.

— Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслице, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

— Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

— Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их любишь.

— Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

— Хочешь, я тебе принесу шоколадку?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол и все курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

III

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

— Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом, точно по секрету:

— Мама... а можно мне слона?.. Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

— Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

— Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мертвый.

— Ты погляди только, Надя,— говорит папа.— Мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочке это совсем не интересно и даже

скучно, но, чтобы не огорчать отца, она шепчет кротко:

— Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повез...

— Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

— Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого... Хоть слоненышка...

— Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

— Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

— Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достается от мамы) и кричит горничной:

— Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит жена.

— Ты куда, Саша? — спрашивает она.

Он тяжело дышит, застегивает пуговицы пальто.

— Я сам, Машенька, не знаю куда... Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

— Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

— Я совсем не спал,— отвечает он сердито.— Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? Покамест нет еще. До свиданья! Вечером все будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

IV

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки — одни в красных юбках, другие в синих штанишках — ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие, карлики, но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую черную сигару.

— Извините, пожалуйста,— говорит Надин отец.— Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко от-

крывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет ее опять в рот и только тогда произносит:

— Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чем дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничто не нравится; велят исполнять все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

— Ну, вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси бог... вдруг ее болезнь окончится плохо... вдруг девочка умрет?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего, самого последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

— Гм... А сколько вашей девочке лет?

— Шесть.

— Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днем нельзя. Соберется публикум, и сделается один скандал... Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

— О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...

— Потом: позволит ли полиция вводить один слон в один дом?

— Я это устрою. Позволит.

— Еще один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

— Позволит. Я сам хозяин этого дома.

— Ага! Это еще лучше. И потом еще один вопрос: в котором этаже вы живете?

— Во втором.

— Гм... Это уже не так хорошо... Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршина. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

— Знаете ли что? — говорит он.— Поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

— Очень хорошо! — соглашается хозяин зверинца.

V

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на нее внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идет среди толпы и уговаривает ее:

— Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно

не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

— Надо дать ему какое-нибудь лакомство...— говорит немец.— Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми!.. Ого-го... Томми!..

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

VI

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

— А что же слон? Он пришел?

— Пришел,— отвечает мама,— но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

— А он добрый?

— Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему.

— А он смешной?

— Немножко. Надень теплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот — точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

— Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

— Здравствуйте, как вы поживаете? — отвечает она.— Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

— Томми.

— Здравствуйте, Томми,— произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты».— Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает



это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

— Ведь он все понимает? — спрашивает девочка немца.

— О, решительно все, барышня!

— Но только он не говорит?

— Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

— А вы, Томми, уже пили чай? — спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

— Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то вниз под голову, где у него движется смешная треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

— Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа — Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это — Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа и голова приклеена и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда, немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

— Это лошадь, это канарейка, это ружье... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

— Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив него садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон — разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону — теплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они полу-

чают сладкое — девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво, только в бо́льшем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

— Не бойтесь, он добрый! — успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми и у них много детей, маленьких, веселых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

— Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

— А слон?

Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

— Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

1907

СКВОРЦЫ

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колесах по дорогам, покрытым густой грязью. Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и темным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась черная, жирная, парившая на солнце земля. Березовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали желтыми, пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчелы вылетели иэ ульев за первым взятком. На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые — скворцы, зти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ, с юга Европы, иэ Малой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех тысяч верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. Сколько неимоверных усилий должно употребить для такого перелета маленькое существо, весом около двадцати — двадцати пяти золотников. Право, нет сердца у стрелков, уничтожающих птицу во время трудного пути, когда, повинуясь могучему зову природы, она стремится в место, где впервые проклюнулась иэ яйца и увидела солнечный свет и зелень.

У животных много своей, непонятной людям мудрости. Птицы особенно чутки к переменам погоды и эадолго предугадывают их, но часто бывает, что перелетных странников на середине безбрежного моря вдруг

застигнет внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, силы ослаблены дальним полетом... Тогда погибает вся стая, за исключением малой частицы наиболее сильных. Счастие для птиц, если встретится им в эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они на палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно вверяя в опасности свою маленькую жизнь вечному врагу — человеку. И суровые моряки никогда не обидят их, не оскорбят их трепетной доверчивости. Морское прекрасное поверье говорит даже, что неизбежное несчастие грозит тому кораблю, на котором была убита птица, просившая приюта.

Гибельными бывают порою и прибрежные маяки. Маячные сторожа иногда находят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи птичьих трупов на галереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг здания. Истомленные перелетом, отяжелевшие от морской влаги птицы, достигнув вечером берега, бессознательно стремятся туда, куда их обманчиво манят свет и тепло, и в своем быстром лете разбиваются грудью о толстое стекло, о железо и камень. Но опытный, старый вожак всегда спасет от этой беды свою стаю, взяв заранее другое направление. Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если почему-нибудь летят низко, особенно ночью и в туман.

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день и всегда в определенном, излюбленном из года в год месте. Одно такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе, весною. Это — дом на углу Преображенской улицы и Соборной площади, против соборного садика. Был этот дом тогда совсем черен и точно весь шевелился от великого множества скворцов, обсевших его повсюду: на крыше, на балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой, сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, щебетания и всяческой скворчиной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни минутки. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, мудрые скворцы сидели в важном одиночестве и степенно чистили клювами перышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым, а если неосторожный пешеход, бывало, зазевается, то беда грозила его пальто и шляпе.

Перелеты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час иногда до восьмидесяти верст. Прилетят на знакомое место рано вечером, подкормятся, чуть подремлют ночь, утром — еще до зари — легкий завтрак, и опять в путь, с двумя-тремя остановками среди дня.

Итак, мы дожидались скворцов. Подправили старые скворечники, покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было три года тому назад только два, в прошлом году пять, а ныне двенадцать. Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при первом тепле, заняли скворечники. Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков — на севере Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге, а чуть весна — лезет в чужое гнездо, что поближе к дому — в скворечье или ласточкино. А выгонят его, он как ни в чем не бывало... Ерошится, прыгает, блестит глазенками и кричит на всю вселенную: «Жив, жив, жив! Жив,



жив, жив!» Скажите пожалуйста, какое приятное известие для мира!

Наконец девятнадцатого, вечером (было еще светло), кто-то закричал: «Смотрите — скворцы!»

И правда, они сидели высоко на ветках тополей и, после воробьев, казались непривычно большими и чересчур черными. Мы стали их считать: один, два, пять, десять, пятнадцать... И рядом у соседей, среди прозрачных по-весеннему деревьев легко покачивались на гибких ветвях эти темные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни. Так всегда бывает, когда вернешься домой после долгого трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал — и весь сразу точно размяк от прежней усталости: сидишь, и не хочется двигаться.

Два дня скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно скворцы по два сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет — высунет свой острый хитрый нос из круглой дырочки — и назад. Наконец голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. «Слетаю, думает, на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит — другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить».— «Как? Мне? Да я его сейчас!» — «А ну-ка, ну-ка...» И пойдет свалка. Впрочем, весною все звери и птицы и даже мальчишки дерутся гораздо больше, чем зимой.

Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того, чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно мало, не больше пяти сантиметров в поперечнике.

А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок! То-то раздолье! Скворец никогда весною не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как ласточки, ни в дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в непрерывном движении.

Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с переваловкой с боку на бок. Внезапно он останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо. Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять... Черная спинка его отливает на солнце металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во вре-

мя этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно улыбаешься.

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом все уменьшая расстояние. Вы добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы — большой. Птица же — создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно памятлива и признательна за всякую доброту.

И настоящую песню скворца надо слушать лишь рано утром, когда первый розовый свет зари окрасит деревья и вместе с ними скворечники, которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже расселись на высоких ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы наслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок малиновки, и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист синички, и среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься: закудахчет на дереве курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное отступление, скворец как ни в чем не бывало, без передышки, продолжает свою веселую, милую юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец (и только один, потому что слышал я его всегда в определенном месте) изумительно верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого гнезда, на крыше малорусской мазанки, и выбивает звонкую дробь длинным красным клювом. Другие скворцы этой штуки не умели делать.

В середине мая скворец-мамаша кладет четыре, пять маленьких, голубоватых глянцевитых яичек и садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность — развлекать самку по утрам и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около двух недель. И, надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит.

Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная, скворчиная песня?

К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит целиком из головы, голова же только из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми — они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок; страшно отлучиться далеко от скворечника.

Но скворцы — хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около гнезда — немедленно назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и, тихонько посвистывая, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались

близко хищники, сторож подает сигнал, и все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали по крайней мере за версту трех галок. Что это было за ярое преследование! Скворцы взмывали легко и быстро над галками, падали на них с высоты, разлетались в стороны, опять смыкались и, догоняя галок, снова забирались ввысь для нового удара. Галки казались трусливыми, неуклюжими, грубыми и беспомощными в своем тяжелом лете, а скворцы были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим в воздухе.

Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы и не заметили, как маленькие подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные жилища и ведут новую жизнь в лесах, на озимых полях, около дальних болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, готовясь к осеннему перелету. Скоро предстоит молодым первый, великий экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, покружатся в воздухе, присядут на ветке около скворечников, легкомысленно просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и улетят, сверкая легкими крыльями.

Но вот уже завернули первые холода. Пора в путь. По какому-то таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак однажды утром подает знак, и воздушная конница, эскадрон за эскадроном, взмывает в воздух и стремительно несется на юг. До свидания, милые скворцы! Прилетайте весною. Гнезда вас ждут...

1917

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, если не в день летнего солнцестояния, 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче, в Виль-д'Аврэ, в десяти километрах от Парижа.

Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви, с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там, за окнами, под открытым небом, в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так иногда меня ласково пробуждали до зари — веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда.

Я распахнул окно и сел на подоконник. В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли. В темных паникадилах каштанов еще путались застрявшие ночью, как тончайшая кисея, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз: разве деревья не видят и не слышат?

Но веселый болтун-скворец и беззаботный свистун-дрозд молчали в это утро. Может быть, они так же, как и я, внимательно, с удивлением прислушивались к тем странным, непонятным, никогда доселе мною не слыханным звукам — мощным и звонким,— от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха.

Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земле трубят золотые и серебряные трубы. Посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости.

Я знаю силу и пронзительность петушиного крика. В прежние времена, охотясь на весенних глухариных токах в огромных русских лесах, в десяти, пятнадцати вер-



стах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревнях. Последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дольше их доносился победоносный крик петуха. И теперь в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо, только что выкупавшиеся в ночной прохладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: «Ведь это сейчас поют все петухи, все, все до единого, старые, пожилые, молодые и годовалые мальчуганы,— все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем, и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах». В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух, вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжествующих прекрасно-яростных звуков. Повсюду — в Версале, в Сен-Жермене и Мальмезоне, в Рюелле, Сюрене, в Гарше, в Марн-ла-Кокет, в Вокресоне, Медоне и на окраине Парижа — звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но полнозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золотого *do!*

Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую, точную паузу, и тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных мест, и, точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска великолепного Древнего Рима встречали своего триумфатора-цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, первые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдаленными восклицаниями радости, а внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим уже озарились сияющим взглядом его лучезарных глаз.

Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с восторгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть, всей страны, может быть, всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета: теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиных тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови. Или, может быть, сегодня празднуется день трехсотого тысячелетия памяти Древнего Петуха — праотца всех петухов на свете, того, кто, как воин и царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками?

И, наконец, может быть,— думал я,— сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, и петухи-солнцепоклонники, обожествившие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огненного бога.

Вот и солнце. Еще никогда никто — ни человек, ни зверь, ни птица — не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного, розового — розово-золотым, золотым. Вот уже золотой огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая последние силы, в самозабвенном экстазе, трепеща от блаженства, закрыв в упоении глаза, поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор! И теперь я уже не понимаю — звенят ли золотыми трубами солнечные лучи или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о Фениксе — таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на востоке из пепла, дыма и раскаленных углей!

Постепенно смолкают земные петухи. Сначала ближние, потом дальние, еще более дальние, и наконец, где-то совсем уже на краю света, почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо. Вот и оно растаяло.

Целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки. Часа в два мне пришлось зайти в один дом. Посреди двора стоял огромный лоншанский петух. В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира, блестели зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, развевались атласные ленты: красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил:

— Это вы так хорошо пели сегодня на заре?

Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову, чиркнул туда и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным хриплым басом. Не ручаюсь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал: «А вам какое дело?»

Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек, не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему, быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?

1923

СОДЕРЖАНИЕ

ББК 84Р1
К92

Тексты печатаются по изданию:
Куприн А. И. Собр. соч.: В 9 т.
М.: Худож. лит., 1970—1973

Художник *Д. А. Трубин*

Куприн А. И.

К92 Золотой петух: Рассказы о животных/Худож. Д. А. Трубин.— М.: Современник. 1990.— 63. с.: ил., портр.— (Отрочество. Серия книг для подростков).

ISBN 5—270—00794—0

В книгу известного русского писателя А. И. Куприна вошли рассказы о животных: «Слон», «Белый пудель», «Изумруд», «В зверинце» и др.

$К\frac{4803010101-226}{М106(03)-90}237-90$ ББК 84Р1

ISBN 5—270—00794—0

Литературно-художественное издание

Куприн Александр Иванович

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Рассказы о животных

Редактор
И. А. КУРАМЖИНА
Художественный редактор
А. В. ДИАНОВ
Технический редактор
Е. А. ВАСИЛЬЕВА
Корректор
Г. А. НОСОВА

ИБ № 5608

Подписано к печати с готовых диапозитивов 25.09.90. Формат $70\times100^{1}/_{16}$. Гарнитура об. новая. Печать офсет. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 5,2. Усл. кр.-отт. 5,53. Уч.-изд. л. 5,59. Тираж 1 000 000 экз. (2-й завод 600 001—1 000 000 экз.) Заказ № 443. Цена 25 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Тверь проспект 50-летия Октября, 46.



25 коп.

ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ
ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

Александр Иванович Куприн (1879—1938) — известный русский писатель, читаемый с искренней охотой и увлечением всеми поколениями на протяжении многих десятков лет.

Знакомство с творчеством А. И. Куприна, как правило, начинается с рассказов «Белый пудель» или «Слон». Эти рассказы читают нам в раннем детстве, хотя они не предназначены специально для маленьких детей. Но такова сила талантливого слова Куприна, такова могучая простота его интонации.

Взрослея, мало кто из подростков не советует прочитать товарищу повести «Олеся» и «Поединок», рассказы «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», «Суламифь», «Гранатовый браслет». Впечатления от прочитанного остаются в памяти надолго. Туман над полесским болотом, пронзительный крик ночной птицы, влекущие в странствия огни портовых городов, плеск волн на морском побережье неуловимо сливаются в нашем сознании с понятиями: честь, любовь, верность, долг, товарищество.

Приходит пора, и читатели Куприна обращаются к его очеркам, воспоминаниям: «Памяти Чехова», «Листригоны», «Лазурные берега», «Юг благословенный», «Париж домашний». Эти страницы рассказывают нам подробно и точно о самом писателе, кто он и откуда, кому поклонялся, кого любил и чтил. Они написаны той же твердой и милосердной писательской рукой, пронизаны той же упрямой любовью к жизни, что и все остальные произведения, составившие обширное литературное наследие А. И. Куприна.